

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССРГод издания 32-й
№ 139 (4264)

Вторник, 22 ноября 1960 г.

ЦЕНА 40 КОП.

Леонид ЛЕОНОВ

С Л О В О Т О Л С Т О М

19 НОЯБРЯ в Большом театре Союза ССР собрались представители советской общественности и культуры, зарубежные писатели, чтобы почтить память Льва Николаевича Толстого.

В президиуме — члены Всесоюзного комитета по проведению 50-летия со дня смерти Л. Н. Толстого: Рокуэлл Кент, Альберт Кан — члены Всемирного Совета Мира, по решению которого отмечается знаменательная дата, представители Союза писателей СССР, Академии наук СССР, Министерства культуры СССР, Советского комитета защиты мира и других организаций, деятели искусств, зарубежные литераторы. Здесь в кругу писателей — Сергей Сергеевич, Илья Ильич и Владимир Ильич Толстые, его

секретарь Н. Н. Гусев, народный артист СССР А. Б. Голденвейзер, близкий знавший Л. Н. Толстого.

Торжественное заседание открыл председатель правления Союза писателей РСФСР Л. С. Соболев.

С речью о Л. Н. Толстом выступил председатель Всесоюзного комитета по проведению 50-летия со дня смерти Л. Н. Толстого лауреат Ленинской премии Л. М. Леонов. Затем слово было предоставлено Рокуэллу Кенту.

После церемонии состоялась большая концертная программа.

На торжественном заседании присутствовали товарищи А. Б. Арнольд, Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, А. Н. Косыгин, А. И. Микоян, Н. А. Мухомедов, М. А. Суслон, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник.

УВАЖАЕМЫЕ гости, дорогие друзья, товарищи! Полвека назад, в канун зимы 1910 года, в нашей стране произошло событие, которое глубоко вызвало современников. На исходе одной ненастной ночи писатель Лев Толстой ушел в неизвестность из своей яснополянской усадьбы. Кроме немногих доверенных лиц, никто в России не знал ни адреса, ни истинной причины, заставившей его покинуть насиженное гнездо.

Четырехдневное скитание, порой под проливным дождем, приводит великого старца на безвестный полуостров. Близкая чужая койка, отсылая... и вот приезжие деятели, духовенство, мужики, сием а то графисты, жандалры толпятся поодаль, брезвещаяго строения. Там, за стеной, один из нас со смертию Лев Толстой. Все торопится сделать, что им положено в беде. Старец Варсонофий рвется вовнутрь благословить отлученного от церкви мыслителя до его отхода в дальний невозвратный путь: из Москвы поездом № 3 Рязано-Уральской железной дороги срочным грузом высылаются в Астапово для больного писателя шесть пудов лекарств. Смятение отринутых им церкви и цивилизации. Затем роковая ночь, черная мгла в окнах. Морфий, камфара, кислород. Последний глоток воды, в дороге. Без четверти шесть Голденвейзер прощется в форточку печальную весть, которая к рассвету облетит мир. Заключил...

Европа шлет словесные венки на могилу гения. В одну строку с Гомером, Лотером и Буддой. А в Ясной Поляне белесая пасмурная тишина. Мерзлая комковатая дорога под жемчужным комом, сотня странников переминается у ворот, вокруг с непокрытой головой Россия. «Несут, несут...» Могла смыкает свое объятие. К потемкам на бугре посреди девяти молодых дубков вырастает холмик, который облепляет самые несхожие биографии... Тогда стоял ноябрь, самый сумеречный месяц, пожалуй, наиболее сумрачного в России года, считая с начала века. День шел на убыль, круче приморозивало, но передовая русская мысль уже провидела рассвет в этом подобии ночи.

Так бывает на бору после падеши хвойного великана: длинный гуд стелется по земле и потом — листва, птица, самые птицы затихают на время. Лес становится ниже, человечество победил. Длительностью наступившего безмолвия мерится значение ушедшего для оставшихся. Моему поколению двадцать, сорок, сорок пять лет. Испытать эту скорбь одиночества, которая, как любое всенародное событие, делает родню тесным домом под единой кровлей. Наличие подобных людей на капитанском мостике национальной мысли внушает современникам доверие к настоящему и бесстрашие к будущему. Смерть Толстого не только у передовой интеллигенции вызвала чувство сиротства, даже обезглавленности. За десять лет перед тем Чехов писал из Язлы:

«...боюся смерти Толстого. Если бы он умер, у меня в жизни образовалось бы большое пустое место... литература обратилась бы в беспастушье стадо». Двадцатью годами раньше о том же задумывался Тургенев. Утрату Толстого ощутила и низовая Россия... Правда, в тогдашних условиях самые прославленные литературные творения шли в низы долгими окольными путями: зачастую простой народ составлял представление о живом писателе лишь по молве об его общественном поведении. А Толстой всю свою жизнь прожил на виду у народа, раскрываясь до тайных то под собственным именем, то под псевдонимом Оленина, Левина, Неклюдова, — всегда идя против господствующих ветров и течений, борясь с непреодолимым богатством, праздностью и насилием, с накопившимися уродствами одряхлевшей цивилизации. И так как столетием была отмечена жизнь писателя, передовые умы из низов приехали к утешной мысли, что неподкупное сердце бьетесь вблизи, зоркое око видит их каторжный труд и лишения, чужое ухо слышит их стон и песню, и, значит, со временем все это отлетится полноценной золотинкой в общую сокровищницу завтрашней преобразенной земли.

Думы и вдохновения, преодоленные сомнения и надежды эпохи — и составитель золотой литературы, живущий чужих целиком зависит от того, насколько они обеспечены историческим ослепом современников. Для таланта — казнь всенародной, для гения — общечеловеческая. Все наши произведения, даже любимые и близкие, опускаются вместе с их создателями в могилу. Книжки должны отлежать свой срок в земле, которая там, в полях, пока наверху шумит и ликует молодое, безжалостно сдирает с них кудри и румяна моды, шпалевку накладного оптимизма, как это произошло с Мартином, как это произошло с Озеровым — им при жизни были выданы талоны на бессмертие... А то еще был в Пушкине, возмужавший Сенокосов как величайший гений! Ему принадлежат незаглазные сочинения под названием «Борьба с милой, борющейся...» Словом, только чистому золоту дано выдержать испытание забвением.

В числе немногих произведений Толстого во все не подвергалась этой пробе временем, как и — Пушкина, которого повсеместно народ наш как бы усыновил навечно. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арага предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Была ли эта поэзия, выходящая из глубины тогдашней действительности. В связи с этим было бы важно еще раз рассмотреть замечание Ленина о сильнейшей разоблачительной стороне толстовского творчества, которую является его «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок». Величие Толстого, по Ленину, заключено в силе, с какой он отражает самое важное событие

Речь, произнесенная 19 ноября в Большом театре СССР на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого

числе их былинный поединок с многоязычной под-наполеоновской Европой! — а на их историческом образе показало столько раз проверенную с тех пор механику героического преобразования в борьбе за правое дело — как наций, так и отдельных мирных душ вообще. Все внято автору «Войны и мира», «Казанова», «Анны Карениной» и «Воскресения», столь громадное, что не умещается в нормальном зрании, и мнимые мелочи, ускользающие от рассеянного взора, подневное величие и вечер человеческой личности. Кроме того, противоречивая и сложная биография Толстого помогла ему показать людское сердце в самых неожиданных сечениях, и, конечно, после Руссо никто еще не распахивал его читателю до такой степени настень. Сегодня, с полувекowego расстояния, Толстой без всякого подвешивания виден нам во весь исполнившийся рост не только свершений, но и колебаний, крайностей и заблуждений своих, неминуемых для искателя правды, которая никому пока не попадалась в чистопородном виде.

Облик этого человека не умещается в рамки дамы выдающихся литературных судеб. Подобно тому, как о Пушкине, по слову Белинского, стыдно говорить смиренной прозой, имя Толстого требует сегодня праздничного словесного оформления. Имя это входит в список едва ли полной личности великих мастеров слова, начиная с античной колесницы культуры нашей. Самый труд его представляется нам поистине геркулесовым подвигом, — он весь как гора на столбовой дороге прогресса, с высоты которой видна вековая, иссеченная тропами даль человеческой мысли. Все они там, от самого Фалеса — собеседника Толстого... И здесь мне полагалось бы остановиться на немеркнувшей пленительности толстовских образов, и в частности провести хрестоматийные параллели между Татьяной Лариной и Наташей Ростовой: сглаживая трудности духовных исканий Толстого, полагалось бы помянуть всколыхнутое им всепоглощающий пантеизм и одновременно подчеркнуть столь основательное у Толстого проникновение в жизнь, что иная его странность кажется приоткрытием неостылого житейского вешества, выходящего из глубины тогдашней действительности. В связи с этим было бы важно еще раз рассмотреть замечание Ленина о сильнейшей разоблачительной стороне толстовского творчества, которую является его «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок». Величие Толстого, по Ленину, заключено в силе, с какой он отражает самое важное событие

своей эпохи — пробуждение народа к сознательному историческому творчеству новых форм жизни.

Для нас, нынешних литераторов, полезно было бы также остановиться на поразительной точности толстовского мышления и — подгонки к нему толстовского языка, — порок узловатого и терпкого, включающего в себя целый вихрь непронесенных оценок и психологических интонаций, языка столь емкого, с таким гулким эхом, что позволяет читателю не только спускаться в глубь страницы по ступенькам строк, но и по прочтении книги долгу бродить в ее волшебных окрестностях, — пусть иногда затрудняющего толстовского языка, заставляющего, по отзыву Чехова, карабкаться на отвесные кручи словесных периодов, что всякий раз с избытком окупается открывающимся сверху кругозором. Не менее уместно было бы перечислить причины столь могучего оплодотворяющего влияния Толстого на европейские литературы и заодно показать на ряде блистательных примеров, как поэтические свершения писателя повлияли на наш национальный характер и как в его собственном творчестве проявились размах, упорство, глубина и другие качества русской натуры. Все это необходимо для понимания исключительного толстовского места в потоке мировой культуры, чем и объясняется такое множество книг о нем у нас и за границей.

По мысли Ленина, шагом вперед в художественном развитии всего человечества выступила современная Толстому эпоха — благодатная почва, которую освещению ее многотрудным художником-реалистом. Одним из главных средств искусства Толстого была «беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедия суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс».

Не меньше, в особенности за границей, написано и о прочих, гораздо реже раскрываемых нами томах Толстого. Причем некоторые зарубежные исследователи преследуют довольно открытую цель — сделать Толстого провозвестником идей, которые, на наш взгляд, никак не вяжутся с истинными воззрениями писателя на современные ему законы общества и цивилизации. Отчасти это случилось вследствие затаившегося нашего неведения к той части наследия писателя, которая находится за пределами его главной прозы. Мы сами как бы отдавали писателя на произвольное, зачастую недобросовестное истолкование его духовного наследия. Некоторые обострились обстоятельства нашего времени, надолго ли меня даже в моем кратчайшем раздумье о Толстом занялись как раз этой минно-второстепенной темой, потому что, как и главная толстовская проза, это тоже книга в большой, с анфиладами и галереями, душевный дом писателя, только окна без занавесок. Сюда так и просится название малой или учительской прозы Толстого. В отличие от основных его шедевров, каждый из которых точно прикреплён к определенным этапам российской действительности, эти чисто ответственные произведения не датированы никак. Сюда входят небольшие по размеру рассказы, исполненные в сдержанной форме четкими линиями легенд и преданий, местами с аскетическим отказом от авторского почерка, и всегда — образцы жанрового лаконизма и простоты. В чем же человеческом говоре их слышится столь же свойственный Толстому голос странника, хлестнувшего из обаятельной чарки бытия и обретшего, наконец, покой от преходящих обаяний света. Остается впечатление, что при помощи этих маленьких, на один глоток, сказаний Толстой стремился утолить извечную человеческую жажду правды и тем самым начертать подобие религиозно-нравственного кодекса, способного разрешить все социальные, международные, семейные и прочие, на века вперед, невзгоды, скопившиеся в людском обиходе от длительного нарушения или некоей божественной правды.

За минувшее столетие сложилось определенное неписанное отношение к этим рассказам: наравне с пространной церковно-философской публицистикой Толстого они представляют для читателя менее интересную часть почти необъятного толстовского наследия. Вместе с тем, в плане обычной толстовской практики, многие из помянутых произведений до такой степени годятся в эпитафии к какому-то масштабному толстовскому роману, что их можно считать зернами громадных, так и не проросших замыслов писателя. Литературный труд у подобных Толстому скорее суровое призвание, чем профессия, — как, впрочем, и будет оно обстоит у всех тружеников, когда они при коммунизме научатся творчески относиться к своей человеческой обязанности на земле. Книжки таких авторов являются своеобразными отчетами о работе над своим гигантским личностно, — главы их духовной биографии. Насколько дано мне понимать, каждый большой художник, помимо своей главной темы, включаемой им в интеллектуальную повестку века, сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложной душевной узел которой он и развивает на протяжении всего творческого пути. Мне представляется даже, что у них бывает сплетено воедино, причем наличие одного непременно свидетельствует о присутствии другого, — так по кимберлитовым образованиям узнается месторождение алмазов. Подобно общественной трагической проблеме Гоголя, существует проблема Толстого: в ней и лежит разгадка — от жизни или, напротив, к жизни уходил Толстой из дому за полторы недели до кончины...

Можно спорить, в какой степени правомерно столь вольное толкование ведущей толстовской темы. Но даже в ту, насковую скорбную неделю, ровно полвека назад, пока еще не завяли цветы на свежей толстовской могиле, настолько расхлестывало мнения современников о нем, что в один и тот же день погребения Гауптман провозгласил, а Метерликом — величайшим атеистом века; единственно правильное в обоих суждениях — эпитет. Тем более, на мой взгляд, потомок имеет право на самостоятельное понимание явления, представляющего ему во весь рост, без досадных подробностей и в полувековой дальности, — пусть даже на толкование запоздалое и, верно, столь же несовершенно!

Кроме мгновитого утра в онне да шуршащая газетного листа с траурными сообщениями о смерти писателя, мне, десятилетнему мальчику, врезались в память тогдашние разговоры среди взрослых, пестрая многоголосица молвы о толстовском уходе, происходившая не из одной лишь обывательской любознательности. Все понимали, что этим актом завершается многолетнее и непонятное толстовское одиночество с самим собой, происшедшее на глазах как у европейской мысли, так у мира, так и у нас, в России. В той среде, где я рос, событие это живо обождалось как перво-степенная общественная загадка: и один присяжные члены газет видели в этом акте попытку мудреца избавиться от несправедливых излияний своей среды, от стеснительных житейских обуз, — другие же толкователи, с уклоном в богословскую уместность, смотрели на уход Толстого, как на душевное бегство от суетной и бесцельно сытой жизни к желанному покою наедине с душой, а возможно, и с богом. И те, и другие догадки выглядели вполне правдоподобно, в свете всегдашних толстовских настроений, кроме самого адреса толстовского ухода.

Вспомню свои путанные юношеские и чуть позднейшие недоумения по поводу учительской толстовской литературы. Прежде всего — что именно толкало этого сложного, своеобразного, с мировым признанием художника, кажда строка которого точна по написанию, появлявшегося в десятках иностранных переводов, обратиться, казалось бы, к более доходчивому, как чашечку полагать и в наши дни, а на деле к совершенно проигранному, вследствие своей откровенной упрощенности, методу влияния на современников. Причина представлялась мне в том, что учительские рассказы Толстого, как и статьи этого раздела, писались, хотя и впереводку с основными его произведениями, все же главным образом во

второй половине творческой деятельности, когда уже редет такой дремучий вначале лес жизни и, в предвидение художника, мглистая опушка заключительной неизвестности таинственно просветляла впереди. Думается, здесь где-то периодически и зарождалось у Толстого содержание перед заключительной неизбежностью, самую волю к жизни поглощающий «арамазский страх», названный так по городу, где впервые случилось это. Собственно, уж близилось... а тяжеловесное перо художника никак не поспевало за работой жаждой мысли, которая ищет всего коснуться, чтобы, осмыслив, обогатив высшим разумением, устремиться вперед, — которая «хочет налету засечь протекающие сквозь нас вещи в мгновение, чтобы определить свои координаты в потоке бытия, без чего можно так жестоко заблудиться в этом слепительном и мглистом пространстве». Этими словами думалось мне в ту пору, приблизительно так же, только проще, думается и теперь. Истинное произведение искусства, есть всегда содержание по форме и открытое по содержанию, а на это требуется время. В отличие от тыквы, за один сезон достигающей похвальных результатов, произведение словесного искусства вырабатывается, как плодородное дерево; подобно любви, оно начинается с робкого предчувствия, с семечка в душевной борозде. И потом надо долго питать его соками души, бережно холить молодую крону, однако — с безжалостной прорезкой загущений и в постоянной тревоге за урожай, столь ненадежный в нашем континентальном климате... Словом, не потому ли Толстой со смиренным лукавством селиться выходил на ниву народную, что торопился до заката опрыскать переполненный зерном кошель, пуская под снег, в непропаханную еще людскую целину.

Тем более торопился он, что уж и некогда становилось: зарницы надвигались грозы то и дело посверкивало небо страны. Приближалась всеобщая ломка старых устоев, — бесчеловечные, но такие сердитые гребенки все обильнее вскапывали на воле моря народного, в каждый годом ошущимей под ногою и в сознании толстовских современников происходила — подвиги материков, вчераше еще — верилось — столь незыблемой в России почве... Во второй половине девятых годов буржуазное пламя с рабочих окраин перекидывается на российский деревню. В литературных салонах шепотом поговаривают, что вот «идут мужики и несут топоры... Что-то страшное будет!». Первоначальной революцией чредою восходят на шафот. Неизвестно, нищета и каторжный труд низов — все это тяжким грузом давит на совесть писателя. Еще в 65-м году, накануне очередной российской голодухи, Толстой глухо роняет в одном письме к Фету — «да, в случае чего, «и нам достанется!». Нам — то есть правящим сословиям — церковь!.. Тот же жуткий предвзвонный холодок будущего не менее остро ощущал Толстой по классической, сверстник Толстого по «классической литературе русской, у которого страх перед грядущим так явно отразился в одном не худшем его романе. Достоевский мучился страхом — что же станет с человеческой душой, если древние своды всемирного христианства рухнут на цивилизацию, которая за две тысячи лет так прочно и плодотворно обосновалась под ними. В то же самое время Толстой, подобно библейскому Самсону, в конечном счете — на самого себя, на собственный свой сословный мир! — стремился раздвинуть стеснительности ему, подернутой сеткой исторического склероза колонны. Он острее своего великого современника чувствовал неотложность общественной перестройки, в первую очередь — для пресыщенного привилегированного сословия, к которому принадлежал, а не только для трудового люда, который, по Толстому, и есть истинные дрожжи жизни и который во всех религиях служит почему-то главным объектом опеки и воспитания. Жить по-старому становилось все трудней Толстому, занятие это мнилось ему все горше и бесцельней. «Куда ни выйду — стыд и страдание!» — вырывается однажды, как брызга, из-под его пера. А вот он на верховой прогулке проезжает мимо сутулых, безличных, под сном природного пыли, мужиков. Они бьют камень на обочине...

(Окончание на 2-й стр.)

ПЕСНИ ОСТАЮТСЯ...



Последним днем десятилетия литературной и художественной культуры, который был посвящен, пожалуй, «атомному» дню. И для журналистов он оказался именно таким. Снова, как и в день открытия десятилетия, встал вопрос: как быть, вернее, где быть? Пять театров давали прощальные спектакли, в пяти местах шли прощальные концерты, в Колонном зале Дома союзов состоялся заключительный вечер литературной части десятилетия.

А ведь всюду хотелось побывать, чтобы увидеть, как Москва начинает прощаться с участниками десятилетия. Мы написали «начинается», потому что, хотя десятилетний срок и истек, но суета, еще не закончена. Сегодня в Центральном Доме литераторов состоится расширенное заседание секретариата правления Союза писателей СССР, на котором будут подведены итоги творческого обсуждения произведений украинской прозы, поэзии, драматургии, критики и детской литературы (отчет об этом обсуждении и о заседании секретариата будет опубликован в одном из ближайших номеров «Литературной газеты»). Завтра в Большом театре будет дан большой заключительный концерт, в котором украинцы еще раз покажут лучшее из того, что они привезли в Москву.

Как всегда при прощании, когда нужно многое сказать, а времени мало, о недосказанном приходится говорить торопливо. Разве можно забыть двух маленьких девочек, которые в Лужниках во время концерта «Мы с Украиной» очаровали москвичей своим танцем? Это Наталья Шеломенцева и Валя Дусанская, ученицы второго класса. Учаты они в разных школах, но «выступают» в одном ансамбле.

ВИЗИТ ДРУЗЬБЫ

Вчера Москва торжественно и радушно встречала Президента Финляндской Республики Урхо Калеву Екконена, прибывшего в советскую столицу с официальным визитом.

Сердечно приветствуя У. К. Екконена, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев сказал: «Нас радует растущее и крепнущее дружество и сотрудничество между народами наших соседних стран. Мы уверены, что финский народ питает такие же чувства. Советско-финляндские отношения являются хорошим примером практического претворения в жизнь принципов мирного сосуществования государств с различными социальными системами».

Обе — ведущие солистки ансамбля песни и пляски киевского Дворца пионеров, начитывающего, между прочим, около 250 юных певцов и танцовщиц.

Разве можно забыть песню «Верховина, мати, моля!» Ее поют теперь только на Украине. Автор музыки и слов этой чудесной песни — самодельный композитор (и, надо полагать, поэт) Михаил Машкин. Он приехал в Москву из закарпатского села Долгое, где есть лесопромышленный, а в лесопромышленном — самодельный композитор, и руководит им Михаил Машкин. Он приехал не один, а вместе с вокальным ансамблем, которому аккомпанирует на аккордеоне. Нужно было видеть, как горячо принимали их песни в Кремлевском театре, в Колонном зале Дома союзов, во многих заводских дворцах культуры!

Женский вокальный квартет — это ученица И. Панюхиной, укладница М. Пирка, сортировщица А. Пащенко и Г. Януб. Днем, на работе они имеют дело с паркетом и деталями для мебельных фабрик. Как будто бы проза, правда? А какие великолепные песни привезли они в Москву!

Вспомнилось давнее выражение: «В Москву — за песнями». Теперь «даже»

ниже» стало двусторонним, теперь и в Москву — с песнями. И песни эти остаются как хороший подарок.

Разве не останется мелодичная и душевная песня Плетенецкой Майбороды, та, которую всегда поют на абис и которая называется по-разному: «Русинки» или «Ридна мати моля»!

Разве не останутся книги прозаиков и поэтов Украины? Кстати сказать, в воскресенье книги стали в московских магазинах значительно больше, чем было, потому что в нескольких книжных магазинах сами украинские писатели.

Многое, очень многое останется в памяти после этой декады. Но самое главное — это радостное ощущение большого праздника, подлинного фестиваля украинской культуры и великой дружбы советских народов.

Встреча с друзьями всегда сулит много радости, само слово «приветствие» навекает некоторую грусть. Что ж, декада закончилась, но встреч еще будет немало. Еще не раз Москва будет рукоплескать украинским талантам, а Киев — горячо принимать своих дорогих друзей из Москвы.

К. ГРИГОРЬЕВ



Торжественное заседание в Большом театре Союза ССР, посвященное 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого.

Фото М. Травкина



Шуточную песенку «Дождь идет» исполняет Енатерина Боршобаняй, солистка Закарпатского народного хора.
Фото М. Трахмана

можно положить, что И. Сенченко несловно бы банально, случившемуся, и, говоря об этом, не жалеет ни м. в жизни... Но вот рассказ — вся книжка про-
ме с точками»). Это ощущение того, что обыкновенные герои И. Сенченко — люди твердые и надежные, оставшиеся навсегда верными тому, что полагали они в детстве, — не возникает при знакомстве с рассказами И. Сенченко и вырастает в уверенность, когда книжка прочитана вся.

Столбцовый современный — пылливый, глубокий интерес к внутреннему миру человека, к «мелочам» сочетается у И. Сенченко с поэтичностью и романтичностью взгляда на жизнь. Это сочетание и создает лирическую авторскую интонацию — мягкую, порой грустную — всегда искреннюю.

«еструю» этой инспектора начинает застывать, а в этот момент Рубина, заставший день за яблоней, с грязным выжином, выходящим из-за калитки, видит Кая Рубин на Солончани Андреевны, чья она глаза читателя

В иных рассказах писатель во время теряет эту нитяноцию, порой она и совсем пропадает; автор переходит на скоромоворку, торопится сказать все о случившемся с героями. Тогда в рассказах писателя исчезает то очарование жизни, подлинность человеческих характеров. («На виноградище», «Встреча»).

И. Сенченко — жизнелюб, или, как сам он говорит, «солнцелюб». В его книге много солнца, неба, садов Украины. Но дороже всего читателю его книги будут, конечно, люди — хорошие, добрые, верные.

я ЕСТЬ
КНИГИ...»

[illegible]

ПОМОГЛА

одной южновосточной библиотеки Юрия Збана, друзья, знакомые, ученики, студенты «входили» в читальный зал. С большим удовольствием и с большим интересом читали рассказы о жизни Героя Советского

известного украинского писателя Юрия Ивановича Яновского. Третьим вышел в свет как литературное приложение к журналу «Дружба народов» и наиболее полный Ю. Яновского — течение всей его жизни. Читатель найдет здесь крупные романы: «Всадники», «Мир», «Мастер корабля», диалог рассказов и «коротких историй», песни, очерки... Произведения эти переведены на русский язык самими

В московской городской юношеской библиотеке обсуждалась повесть Юрия Збанацкого «Поздравьте меня, друзья». Школьники старших классов, студенты техникумов заполнили читальный зал. С большим интересом слушали выступление молодых писателей, рассказавшего о жизни и творчестве писателя. Герои Советского Союза Юрия Збанацкого.

В разговоре о книге молодежи проявляла хорошее знание жизни; тут были и личные наблюдения над жизнью колхозного села, и философские размышления о жизни. Пусть иногда нايвно по форме, что неслидно из-за непривычки выступать публично, но говорили горячо, от души.

Иные из выступавших считали, что недостаточно полно обрисованы некоторые античные персонажи, другим хотелось бы, чтобы писатель больше рассказывал о любви своих юных героев.

Между писателям и аудиторией установился сердечный контакт. Юрий Збанацкий

...и аудитории установил контакт. Юрий Збанацкий и аудиторский установил контакт. Юрий Збанацкий и аудиторский установил контакт.

